

# В ожидании варваров

**Автор:**

[Джон Кутзее](#)

В ожидании варваров

Джон Максвелл Кутзее

Азбука Premium

Самый загадочный писатель из всех нобелевских лауреатов, дважды удостоенный премии Букера и ни разу не явившийся на вручение. Человек, само имя которого долго оставалось загадкой, посвятивший свою нобелевскую речь не кому-нибудь, а Робинзону Крузо...

Небольшой городок на окраине безымянной Империи, взбудораженный известием о скором нападении племен варваров из приграничных пустынь. Прибывший из сердца Империи полковник, готовый извести всякого, лишь бы выбить из человека нужные показания. Городской судья, не желающий поддаваться панике и в результате из обвинителя превратившийся в обвиняемого. Пленная девушка, ставшая для судьи объектом чувственно-религиозного поклонения.

Настоящее удовольствие для ценителей интеллектуальной литературы.

Джон Максвелл Кутзее

В ожидании варваров

J. M. Coetzee

# WAITING FOR THE BARBARIANS

Copyright © J. M. Coetzee, 1980

All rights reserved

By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue, Suite 5300 New York NY, 10118 USA.

© А. Михалев (наследник), перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА

I

Я никогда такого не видал: перед глазами у него висят два круглых стеклышка в проволочных петлях. Он что, слепой? Если бы он прятал слепые глаза, я бы еще мог понять. Но он не слепой. Стеклышки темные и снаружи кажутся непрозрачными, но он сквозь них видит. Он говорит, что это новейшее изобретение.

– Они защищают глаза от солнца, – говорит он. – В этой вашей пустыне очень помогает. Меньше щуришься. И голова реже болит. Посмотрите. – Он притрагивается к уголкам глаз. – Никаких морщин. – Он снова опускает стекла на место. Да, действительно. Кожа у него как у молодого. – У нас все в таких ходят.

Мы сидим в лучшей комнате трактира, на столике между нами фляга и плошка с орехами. Причину его приезда мы не обсуждаем. Он прибыл в связи с

чрезвычайным положением, этим все сказано. Мы предпочитаем говорить об охоте. Он рассказывает, как недавно выезжал на великолепную травлю: забили тысячи оленей, кабанов, медведей, до того много, что целую гору туш пришлось так там и оставить («хотя было жалко»). Я рассказываю о великолепных стаях перелетных гусей и уток, что каждый год опускаются на наше озеро, и описываю здешние способы охоты. Предлагаю свозить его на туземной лодке на ночную рыбную ловлю.

– Презанятнейшее зрелище, – говорю я. – Рыбаки зажигают факелы и бьют над водой в барабаны, чтобы рыба шла прямо в сеть.

Он кивает. Рассказывает о своей поездке в другую приграничную провинцию, где жители едят некоторые виды змей и считают их лакомством, а еще рассказывает, как подстрелил огромную антилопу.

Среди непривычной мебели он двигается неуверенно, но свои темные стекла не снимает. Спать он уходит рано. В трактире он остановился потому, что ничего лучше наш город предложить не может. Трактирщику и служанкам я объясняю, что он очень важная персона.

– Полковник Джолл служит в Третьем отделе, – говорю я. – А Третий отдел в наше время самое важное подразделение Гражданской охраны. – Так, по крайней мере, утверждают сплетни, с большим запозданием доходящие до нас из столицы. Трактирщик кивает, служанки угодливо кланяются. – Мы обязаны произвести на него хорошее впечатление.

Выношу свою циновку на крепостную стену, где ночной ветерок позволяет ненадолго забыть о жаре. На плоских крышах города в лунном свете различаю силуэты спящих людей. Из-под ореховых деревьев с площади еще доносятся приглушенные голоса. В темноте рдеет, как светлячок, чья-то трубка: красная точка то тускнеет, то снова вспыхивает. Лето медленно катится к концу. Сады изнемогают под бременем плодов. В столице я не был со времен моей молодости.

Просыпаюсь до рассвета и на цыпочках спускаюсь по лестнице мимо спящих солдат; они ворочаются, вздыхают и видят во сне своих матерей и невест. Сверху на нас смотрят тысячи звезд. Воистину мы здесь живем на крыше мира.

Проснешься среди ночи под открытым небом, и дух захватывает.

Часовой у ворот сидит, скрестив ноги, и крепко спит, мушкет он держит на руках, как ребенка. Каморка привратника закрыта, его тележка стоит снаружи. Иду дальше.

– Условий для содержания заключенных у нас нет, – объясняю я. – Преступления здесь дело довольно редкое, виновные наказываются в основном штрафами или принудительными работами. Этот сарай, как видите, просто кладовка, пристроенная к амбару, где мы храним зерно.

В сарае тесно и воняет. Окон там нет. Двое задержанных лежат связанные на полу. Запах в сарае – от них, застарелый запах мочи. Зову стражника, приказываю:

– Принеси им помыться, и побыстрее.

Пропускаю гостя вперед и вслед за ним вхожу в прохладный сумрак амбара.

– В этом году надеемся собрать с общинных земель три тысячи бушелей. Сеем мы всего один раз. Последнее время погода весьма нам благоприятствует.

Мы ведем разговор о крысах и о способах сокращения их числа. Когда возвращаемся в сарай, там пахнет мокрой золой, а оба арестанта в ожидании стоят на коленях в углу. Один из них старик, другой совсем еще мальчик.

– Их поймали несколько дней назад, – говорю я. – Меньше чем в двадцати милях отсюда был набег. Случай необычный. Как правило, они так близко к крепости не подходят. Этих поймали уже после набега. Они утверждают, что ни при чем. Если хотите с ними побеседовать, я, разумеется, помогу вам и переведу.

Лицо у мальчика распухло, все в ссадинах, один глаз затек и не открывается. Сажусь перед ним на корточки, треплю по щеке.

– Послушай, – говорю я на приграничном диалекте, – мы хотим с тобой потолковать.

Он никак не отзывается.

- Дурачком прикидывается, - бурчит стражник. - Все ведь понимает.

- Кто его избил?

- Не я, - говорит стражник. - Его таким и привели.

- Кто тебя избил? - спрашиваю я мальчика.

Он меня не слушает. Он смотрит мимо меня, и не на стражника, а на полковника Джолла.

Я поворачиваюсь к Джоллу.

- Вероятно, он ничего подобного не видел. - И поясняю жестами: - Я имею в виду ваши стекла. Должно быть, думает, что вы слепой.

Но Джолл на мою улыбку не отвечает. Как я догадываюсь, в присутствии арестантов полагается вести себя с известной долей официальности.

Опускаюсь на корточки перед стариком:

- Отец, послушай меня. Тебя поймали после угона скота. Дело нешуточное, сам понимаешь. Тебя могут наказать.

Старик облизывает губы. Лицо у него серое, измученное.

- Видишь этого господина, отец? Господин приехал к нам из столицы. Он объезжает все приграничные крепости. Его работа - узнавать правду. Другой работы у него нет. Он только узнаёт правду. Если не хочешь говорить со мной, тебе придется поговорить с ним. Ты меня понял?

- Ваша милость... - хрипло произносит старик и откашливается. - Ваша милость, никакие мы не воры. Солдаты схватили нас и связали. Ни за что ни про что. Мы в город шли, нам к лекарю надо. Парнишка этот - сын моей сестры. Нарыв у него,

все никак не заживает. Мы не воры. Покажи их милостям свою болячку-то.

Ловко, рукой и зубами, мальчик развязывает тряпку, намотанную выше локтя. Последние слои повязки, пропитанные засохшей кровью и гноем, прилипли к коже, но он отдирает краешек тряпки и показывает мне багровый ободок нарыва.

– Видите, – говорит старик. – Что только ни пробовали, не заживает. Я его к лекарю вел, а нас солдаты схватили. Вот и все.

Мы с моим гостем идем назад через площадь. Мимо проходят, возвращаясь с плотины, три женщины, на голове у них корзины с выстиранным бельем. Женщины с любопытством косятся на нас, но головы на напряженных шеях остаются неподвижными. Солнце палит нещадно.

– Эти двое – единственные, кого мы поймали за многие годы, – говорю я. – Просто случайность. В другое время мы не сумели бы показать вам вообще ни одного варвара. Этот их так называемый разбой не слишком нам досаждают. Бывает, выкрадут пять-шесть овец или отобьют от каравана какого-нибудь мула. Иногда мы их за это наказываем, посылаем карательные отряды. Они ведь в основном из нищих племен, собственного скота у них очень мало, живут они на землях вдоль реки. Так что грабеж для них почти неотъемлемая часть жизни. Старик говорит, они с мальчиком шли к лекарю. Допускаю, что так и было. Кто возьмет старика и больного мальчишку в разбойничий налет?

Внезапно я сознаю, что защищаю их.

– Конечно, полной уверенности нет. Но даже если они лгут, какая вам от них польза – простые, невежественные люди?

Я пытаюсь подавить раздражение, которое он вызывает у меня своим загадочным молчанием и дешевой театральной таинственностью темных щитков, скрывающих здоровые глаза. Ходит он, сложив руки перед грудью, как женщина.

– Тем не менее я обязан их допросить, – говорит он. – И сегодня же вечером, если не возражаете. Со мной будет мой помощник. Кроме того, мне понадобится кто-нибудь, знающий местный язык. Может быть, стражник? Он говорит на

диалекте?

- Да мы все тут на нем объясняемся. Мое присутствие было бы для вас нежелательно?

- Вам будет неинтересно. Мы действуем отработанными методами.

Никаких криков из амбара я не слышу, хотя многие потом утверждали, что слышали. Занимаясь в тот вечер своими обычными делами, я ни на миг не перестаю думать о том, что, возможно, сейчас происходит; более того, я сознательно настроил свой слух на регистр человеческой боли. Но амбар - здание массивное, с тяжелыми дверями и крохотными оконцами, да и стоит он далеко, за скотобойней и мельницей, в южном квартале. К тому же застава, ставшая впоследствии приграничной крепостью, постепенно переросла в земледельческое поселение, в город, где живут три тысячи душ и где шум повседневной жизни, которым эти души наполняют теплый летний вечер, не затихнет лишь из-за того, что кто-то где-то кричит. (Вот я уже и начал оправдываться.)

Когда у полковника Джолла выпадает свободное время и мы снова встречаемся, я подвожу разговор к вопросу о пытках.

- А что, если допрашиваемый говорит правду, но понимает, что ему не верят? - спрашиваю я. - Ведь это ужасно, вам не кажется? Представьте себе: человек готов во всем признаться, он признаётся, больше ему признаваться не в чем, он сломлен, но на него все равно давят и требуют новых признаний! И какую огромную ответственность берет на себя допрашивающий! Как вы вообще определяете, когда вам говорят правду?

- По тону голоса, - отвечает Джолл. - Когда человек говорит правду, голос у него звучит в некой особой тональности. Распознать ее нам помогают специальная подготовка и практический опыт.

- Тональность правды?! А в обычной, обыденной речи вы тоже ее слышите? Вот сейчас, например, вы можете определить, правду я говорю или нет?

За все время нашего знакомства мы с ним впервые так откровенны, но он небрежно перечеркивает великий миг легким взмахом руки.

– Нет, вы меня не поняли. Я говорю лишь о вполне определенных обстоятельствах, когда правды необходимо доискиваться, когда, чтобы установить истину, я вынужден применять нажим. Сначала в ответ я слышу только ложь – это, знаете ли, проверено, – итак, сначала идет ложь, я нажимаю, снова идет ложь, я нажимаю сильнее, наступает перелом, затем я нажимаю еще сильнее и вот тогда уж слышу правду. Так и устанавливается истина.

Примем боль за истину, все прочее подвергнем сомнению. Вот что я выношу из беседы с полковником Джоллом, а воображение усердно рисует мне картинки из его жизни в столице, куда ему явно не терпится скорее вернуться и где он – ах, эти безукоризненные ногти, этот лиловый платочек, эти изящные ноги в мягких туфлях! – разгуливает в антрактах по фойе и сплетничает с приятелями.

(Но с другой стороны, кто я, чтобы доказывать, что между нами лежит пропасть? Я с ним пью, я с ним ем, я знакомлю его с нашими достопримечательностями, я оказываю ему всяческое содействие, как повелевает его мандат, и так далее. Империя требует от своих подданных не любви друг к другу, а лишь выполнения каждым его долга.)

Отчет, который он представляет мне как городскому судье, лаконичен.

«В ходе допроса были выявлены противоречия в показаниях задержанного. Когда ему было указано на эти противоречия, он пришел в ярость и напал на офицера, проводившего допрос. В последовавшей схватке задержанный сильно ударился о стену. Попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными».

Для составления протокола в полном соответствии с буквой закона я вызываю стражника и прошу его дать свидетельские показания. Он излагает факты, я записываю: «Задержанный разъярился и напал на приезжего офицера. Меня вызвали на помощь, чтобы его утихомирить. Но когда я пришел, схватка уже закончилась. Задержанный был без сознания, из носа у него текла кровь». Я показываю ему, где расписаться. Он почтительно берет у меня перо.

– Этот офицер объяснял тебе, что ты должен мне говорить? – тихо спрашиваю я.



– Так точно, – отвечает он.

– Руки у задержанного были связаны?

– Так точно. То есть никак нет.

Я отпускаю его и выписываю разрешение на похороны.

Но потом, вместо того чтобы лечь спать, беру фонарь, пересекаю площадь и в обход, переулками, добираюсь до амбара. Стражник сменился, перед дверью пристройки спит, завернувшись в одеяло, другой, такой же простой крестьянский парень. Сверчок в амбаре, услышав мое приближение, смолкает. Засов громко звякает, но стражник не просыпается. Поднимаю фонарь выше и вхожу в сарай, сознавая, что вторгаюсь в пределы, ставшие отныне освященными (или, если угодно, оскверненными, хотя какая разница?), в заповедник, оберегающий тайны государства.

Мальчик лежит в углу на соломе, живой, невредимый. Кажется, что он спит, но его выдает напряженность позы. Руки у него связаны на груди. В другом углу – длинный белый сверток.

Я бужу стражника.

– Кто тебе приказал оставить труп в сарае? Кто зашил его в саван?

Он слышит гнев в моем голосе.

– Это тот, который приехал вместе с господином офицером, с их милостью. Я когда заступал, он как раз тут был. Он мальчишке этому сказал, я сам слышал: ты, говорит, спи со своим дедушкой, а то он озябнет. А потом еще вроде как хотел мальчишку тоже в саван зашить, в тот же самый, но не зашил.

Мальчик лежит все в той же неловкой позе, зажмурив глаза, а мы выносим труп из сарая. Во дворе стражник светит мне фонарем, я поддеваю ножом шов, распарываю саван и откидываю ткань с лица старика.

Седая борода слиплась от засохшей крови. Губы разбиты и оттянуты к деснам, зубы переломаны. Один глаз закатился, вместо другого кровавая дыра.

– Закрой его, – говорю я.

Стражник связывает края распоротого савана. Но узел развязывается.

– Мне сказали, он разбил голову о стенку. А ты что скажешь?

Стражник устало смотрит на меня и молчит.

– Принеси какую-нибудь бечевку и свяжи покрепче.

Я поднимаю фонарь над мальчиком. Тот даже не шевелится; но, когда я нагибаюсь и глажу его по щеке, он дергается, его начинает бить дрожь, по телу волнами бегут судороги.

– Не бойся, – говорю я. – Я тебе плохого не сделаю.

Он перекачивается на спину и закрывает лицо связанными руками. Руки у него опухли и побагровели. Я пробую распутать веревки. Рядом с этим мальчиком я почему-то особенно неловок.

– Послушай меня: ты должен сказать господину офицеру всю правду. Ничего другого ему от тебя не надо. Как только он поверит, что ты говоришь правду, он тебя больше не тронет. Но ты должен сказать ему все, что знаешь. На каждый вопрос ты должен отвечать только правду. Если будет больно, не отчаивайся. – Узел наконец поддался, и мне удается ослабить веревки. – Потри руки, надо разогнать кровь.

Беру его руки в свои и мну их. Морщась от боли, он сгибает пальцы. Зачем кривить душой, я сейчас играю жалкую роль матери, утешающей ребенка в коротких промежутках между вспышками отцовского гнева. И я уже понял, что, допрашивая, можно поочередно менять две маски и пускать в ход два голоса: один – суровый, другой – ласковый.

– Его вечером кормили? – спрашиваю я стражника.

– Не знаю.

– Тебе поесть давали? – Мальчик мотает головой. Мне все больше не по себе. Зря я впутался в эту историю. Чем она кончится, неизвестно. Поворачиваюсь к стражнику: – Я уже ухожу, но у меня к тебе три просьбы. Во-первых: когда руки у него отойдут, свяжешь их снова, но не слишком туго, чтобы не опухли. Во-вторых: труп пусть лежит там, где сейчас, то есть во дворе. Назад в сарай его не клади. Утром я пораньше пришлю могильщиков, и они его заберут. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, скажешь, что я тебе так приказал. И в-третьих: сейчас ты запрешь сарай и пойдешь со мной на кухню. Я дам тебе для мальчика какой-нибудь еды, ты вернешься сюда и его накормишь. Пошли.

Я нисколько не собирался во все это влезать. Городской судья, ответственный чиновник на службе у Империи, я дорабатываю оставшийся до пенсии срок на этой тихой границе и мечтаю скорее уйти на покой. Я собираю церковную десятину и налоги, распоряжаюсь общинными землями, слежу, чтобы наш гарнизон был обеспечен всем необходимым, руковожу младшими офицерами – других у нас здесь и нет, – надзираю за торговлей и дважды в неделю председательствую на судебных заседаниях. А еще люблю восходы и закаты, ем, сплю и живу в свое удовольствие. Когда я умру, в «Новостях Империи», надеюсь, появятся заслуженные мною три строчки мелким шрифтом. Спокойная жизнь в спокойное время – ничего больше я для себя не ищу.

Но с прошлого года из столицы начали доходить слухи о волнениях среди варваров. Торговые караваны, двигавшиеся по прежде безопасным дорогам, подвергались нападениям и грабежу. Участились и стали более дерзкими случаи угона скота. Исчезли несколько чиновников, проводивших перепись; их трупы нашли потом в наспех вырытых могилах. В губернатора одной из провинций во время инспекционной поездки стреляли. Кое-где произошли стычки с отрядами пограничной охраны. Племена варваров вооружаются, твердили слухи; Империи следует принять предупредительные меры, ибо война неизбежна.

Сам я с подобными происшествиями не сталкивался. Мои собственные наблюдения подсказывали, что каждые тридцать – сорок лет слухи о варварах непременно вызывают всплеск истерии. Любой женщине, живущей в приграничной полосе, не раз снится, как из-под кровати высовывается смуглая рука варвара и хватает ее за щиколотку; любой мужчина не раз в ужасе представляет себе, как варвары пируют в его доме, бьют стекла, поджигают

занавески, насилуют его дочерей. Все эти фантазии – порождение слишком беспечной жизни. Покажите мне собранную варварами армию, тогда я поверю.

В столице опасались, что северные и западные племена варваров наконец решили объединиться. Офицеров Генштаба начали направлять на границу с проверками. Усиливали отдельные гарнизоны. По просьбе некоторых торговцев караванам придавали группы военного сопровождения. И, чего никогда раньше не было, в приграничную полосу стали наведываться сотрудники Третьего отдела Гражданской охраны – стражи безопасности Империи, знатоки, выявляющие самые скрытые поползновения смуты, поборники истины, мастера допросов. Так что, полагаю, для меня отныне кончилась череда безмятежных лет, когда ко сну я уходил со спокойной душой, зная, что там подтянешь, здесь подкрутишь, и все будет, как и прежде, катиться по наезженной колее. Если бы у меня хватило ума попросту сдать двух этих недотеп полковнику, размышляю я («Извольте, полковник, вы свое дело знаете, вы с ними и разбирайтесь!»), если бы я, как и следовало, уехал на несколько дней на охоту, скажем, в верховья реки, а потом возвратился и, не читая или небрежно пробежав равнодушными глазами его отчет, поставил бы внизу свою печать и не спрашивал бы себя, что на самом деле означает слово «допрос» и что прячется за ним, как привидение за кладбищенской оградой, – если бы у меня хватило ума поступить правильно, тогда, вероятно, я смог бы сейчас вернуться к моим привычным занятиям: постреливал бы уток, выезжал на соколиную охоту, лениво предавался плотским утехам, а там, глядишь, беспорядки успели бы кончиться и границу перестало бы лихорадить. Но, увы, никуда я не уехал: просто на время запретил себе слышать вопли, доносившиеся из пристроенной к амбару кладовой, а потом, вечером, взял фонарь и отправился туда, чтобы увидеть все собственными глазами.

Куда ни глянь, земля до самого горизонта бела от снега. Снег падает с неба, озаренного светом, который исходит не из одной точки, а рассеян равномерно и повсюду, словно солнце расплавилось и превратилось в дымку, в ауру. Во сне я прохожу через гарнизонные ворота, иду мимо голого флагштока. Городская площадь передо мной расплзается, края ее сливаются с мерцающим небом. Стены, деревья, дома – все вдруг съежилось, потеряло незыблемость, отодвинулось куда-то за пределы мира.

Я скольжу по площади, и постепенно сквозь белизну проступают темные силуэты, фигурки играющих детей: дети строят из снега замок, сверху они

воткнули в него маленький красный флажок. От мороза детей защищают варежки, сапожки, шарфы. Пригоршню за пригоршней носят дети снег, стены их замка становятся все толще и рельефнее. От детей клубочками отлетает белый пар дыхания. Крепостной вал вокруг замка уже наполовину построен. Напрягаю слух, чтобы хоть что-то уловить в странном плывущем гомоне детских голосов, но не разбираю ни слова.

Я понимаю, что я – огромное темное пятно, и потому не удивляюсь, когда при моем приближении детские фигурки бесследно тают. Все, кроме одной. Девочка в капюшоне – она старше других, может быть, даже уже не девочка, а девушка – сидит, отвернувшись от меня, на снегу и мастерит ворота замка: ноги ее развернуты коленями наружу, руки роют, приминают, лепят. Встаю у нее за спиной и наблюдаю. Она не оборачивается. Какое оно, это лицо между лепестками остроконечного капюшона, – я пытаюсь представить его себе, но не могу.

Мальчик лежит на спине, голый; спит, дышит часто и неровно. Тело его блестит от пота. На руке впервые нет повязки, и вскрывшийся нарыв виден целиком. Подношу фонарь ближе. Живот и пах у него сплошь покрыты мелкими струпьями, царапинами, порезами, из некоторых еще сочится кровь.

– Что они с ним делали? – шепотом спрашиваю у стражника, того же паренька, который был здесь вчера вечером.

– Да ножом, – шепотом отвечает он. – Просто маленьким ножичком. Вот таким. – Двумя пальцами, большим и указательным, он показывает длину ножа. Потом зажимает воображаемый нож в руке, с маху вонзает его в тело спящего мальчика и слегка покручивает, как ключ в замочной скважине, то вправо, то влево. Затем вытаскивает его, опускает руку и снова неподвижно замирает.

Опускаюсь возле мальчика на колени, свечу фонарем ему в лицо и тормошу его. Он вяло открывает глаза, но тотчас закрывает их снова. Глубоко вздыхает и начинает дышать не так часто.

– Мальчик! – говорю я. – Тебе снится страшный сон. Ты должен проснуться.

Он открывает глаза и, щурясь от света, глядит на меня. Стражник приносит склянку с водой.

– А сидеть он может? – спрашиваю я.

Стражник отрицательно качает головой. Потом приподнимает мальчика и подносит склянку к его губам.

– Послушай, – говорю я. – Мне сказали, что ты сознался. Как мне сказали, ты подтвердил, что вместе со стариком и другими мужчинами вашего племени вы угоняли овец и лошадей. Ты сказал, что ваше племя вооружается и что весной все вы объединитесь для великой войны против Империи. Ты говорил правду? Ты хоть понимаешь, что может наделать твое признание? Ты это понимаешь? – Замолкаю; весь мой пыл напрасен, в глазах у мальчика пустота и усталость, как у человека, пробежавшего огромное расстояние. – Ведь теперь солдаты станут нападать на твой народ. Начнется резня. Ваши люди будут гибнуть, может быть, погибнут даже твои родители, твои братья и сестры. Неужели ты и вправду хочешь, чтобы это случилось?

Он не отвечает. Трясу его за плечо, бью по щеке. Он даже не вздрагивает; у меня ощущение, что я дал пощечину мертвецу.

– Наверное, ему очень плохо, – шепчет за спиной стражник. – У него все болит, и ему очень плохо.

Мальчик смотрит на меня и закрывает глаза.

Вызываю единственного здешнего лекаря, старика, который зарабатывает на жизнь тем, что рвет горожанам зубы и готовит любовные эликсиры из костяной муки и крови ящериц. На нарыв он ставит мальчику припарку из глины, а десятки порезов и ранок смазывает жирной мазью. Через неделю встанет на ноги, обещает он. Потом советует кормить больного посытнее и торопливо уходит. Откуда у мальчика эти увечья, он не спрашивает.

Полковник же горит нетерпением. Он задумал совершить набег на кочевников и захватить побольше пленных. Мальчика он хочет взять с собой проводником.

Меня полковник просит дать ему тридцать из сорока солдат нашего гарнизона и обеспечить отряд лошадьми.

Пытаюсь его отговорить.

– Не в обиду будь сказано, полковник, но вы все же не настоящий военный, – начинаю я. – И вам не приходилось воевать в этом диком краю. Опытных проводников у вас нет, а этот ребенок до того вас боится, что готов наплевистить что угодно, только бы вы были довольны, да и, кроме того, он еще слишком слаб для такого путешествия. Солдаты вам тоже вряд ли чем-то помогут, они всего лишь простые деревенские рекруты, и многие из них не отъезжали от гарнизона дальше чем на пять миль. Варвары же почуют ваше приближение еще за день и скроются в пустыне. Они живут здесь всю жизнь, они эти места знают. А вы и я – мы с вами здесь чужие, и к вам это относится даже в большей степени, чем ко мне. Я искренне не советую вам ехать.

Он внимательно меня выслушивает и, более того (как мне кажется), поощряет мою болтливость. Не сомневаюсь, что позже этот разговор записывается и против моего имени ставится пометка «неблагонадежен». Услышав все, что его интересовало, он отмахивается от моих доводов.

– Поймите, судья, мне дано четкое задание. Только я сам могу определить, когда оно будет выполнено. – И продолжает приготовления к походу.

Ехать он собирается в своей черной двухколесной карете, к которой сверху привязаны походная кровать и складной письменный стол. Я выделяю для отряда лошадей, повозки, фураж и провизию на три недели. Вместе с полковником едет и наш гарнизонный лейтенант. Я приглашаю его к себе, разговор идет с глазу на глаз.

– Не полагайтесь на проводника. Он слабоволен и запуган. Следите за погодой. Запоминайте ориентиры. Ваша главная забота – привезти нашего гостя целым и невредимым.

Лейтенант кланяется.

Снова иду к Джоллу, пробую выведать его намерения.

– Да, – говорит он. – Конечно же, я не берусь предугадать весь ход событий. Ну а если в общих чертах, то сначала мы отыщем стоянку этих ваших кочевников, а дальше будем действовать по обстоятельствам.

– Я вас об этом спрашиваю только потому, – продолжаю я, – что, если вы заблудитесь, именно нам выпадет задача найти вас и вернуть в лоно цивилизации.

Мы оба умолкаем, и каждый по-своему смакует иронический смысл последнего слова.

– Да, конечно, – говорит он. – Но такое вряд ли случится. К счастью, вы же сами снабдили нас превосходными картами.

– Эти карты, полковник, составлены в основном с чужих слов. Я только свел воедино все, что за последние десять – двадцать лет узнал из рассказов путешественников. В местах, куда вы направляетесь, сам я никогда не был. Я лишь хочу вас предостеречь.

Его присутствие в нашем городе уже на второй день настолько вывело меня из равновесия, что я с ним холодно вежлив, не более. Вероятно, за годы работы разъездным палачом он привык, что его чураются. (Но может быть, в наши дни палачей и экзекуторов продолжают считать нечистью только в провинции?) Я гляжу на него и гадаю, что он почувствовал в первый раз, в тот самый первый раз, когда его, еще не мастера, а ученика, попросили рвануть клещи, или закрутить тиски, или не знаю, что там у них еще принято; дрогнуло ли хоть что-то в его душе, когда он понял, что в этот миг преступает запретную черту? А еще я ловлю себя на том, что хотел бы узнать, есть ли у него какой-то свой, личный ритуал очищения, совершаемый за закрытыми дверями и позволяющий ему потом выйти к людям и преломить с ними хлеб. Может быть, он, к примеру, очень тщательно моет руки или переодевается во все чистое или, может быть, Третий отдел вывел новый вид человека, который способен без малейшего волнения погружаться в скверну и так же невозмутимо из нее выходить?

Поздно вечером с другого конца площади, из-под старых ореховых деревьев, несется пиликанье и громохание оркестра. В воздухе розовое марево от кучи раскаленных углей, на которых солдаты жарят целого барана, подарок от «их милости». Солдаты будут пьянствовать полночи, а на рассвете двинутся в путь.



Переулками дохожу до амбара. Стражника на месте нет, дверь в пристройку открыта. Заношу ногу через порог, но вдруг слышу, как в глубине сарая кто-то перешептывается и хихикает. Вглядываюсь в сплошную темноту и спрашиваю:

- Кто здесь?

Что-то трещит, и уже знакомый мне молодой стражник чуть не сбивает меня с ног.

- Извините, ваша милость, - говорит он. От него разит ромом. - Меня арестант позвал, и я, стало быть, хотел ему помочь.

Из темноты раздается громкий смех.

Я сплю, просыпаюсь от грохота оркестра, играющего на площади очередной танец, снова засыпаю, и мне снится раскинувшееся на спине тело: густые черные, отливающие золотом волосы узкой полоской тянутся через живот, в паху полоска расширяется и треугольником, похожим на наконечник стрелы, уходит в темную бороздку между ног. Я протягиваю руку, хочу эти волосы погладить, но они вдруг начинают шевелиться. Потому что это не волосы, а пчелы, целый рой карабкающихся друг по другу пчел: измазанные медом, липкие, они выползают из темной бороздки и часто-часто машут крыльями.

Чтобы напоследок не показаться невежливым, верхом провожаю полковника до того места, где дорога сворачивает у озера на северо-запад. Солнце уже поднялось, и озеро так нестерпимо блестит, что я заслоняю глаза рукой. За каретой, устало трясясь в седлах, следуют солдаты, еще не протрезвевшие после ночного кутежа. В середине колонны едет арестант, его поддерживает скачущий рядом стражник. Лицо у мальчика бледное, на лошади он сидит неуклюже, видно, что раны все еще причиняют ему боль. Замыкает колонну вьючный обоз - телеги везут бочки с водой, провиант и тяжелую поклажу: пики, мушкеты, амуницию, палатки. В целом безрадостное зрелище: всадники не держат строя, одни едут с непокрытой головой, другие в тяжелых кавалерийских касках с перьями, третьи в обычных кожаных шапках. Блеск воды слепит, и солдаты стараются смотреть в сторону, все, кроме одного: этот едет, отважно глядя вперед сквозь осколок закопченного стекла, который он

прилепил к палочке и, подражая предводителю отряда, держит перед глазами. Как далеко зайдет эта нелепая мода?

Мы едем молча. Жнецы, вышедшие на поля еще до зари, отрываются от работы и машут нам вслед. У поворота натягиваю поводья и прощаюсь.

– Благополучного возвращения, полковник, – говорю я.

С непроницаемым лицом он чуть заметно кивает мне из окна кареты.

И я скачу назад, на сердце у меня легко, я рад снова остаться один на один с миром, который знаю и понимаю. Поднявшись на крепостную стену, смотрю, как отряд короткой змейкой ползет по северо-западной дороге, взяв курс на далекое зеленое пятно, туда, где в озеро впадает река и где узкая полоса растительности исчезает в дымке пустыни. Медное солнце по-прежнему тяжело висит над водой. К югу от озера простираются болота и солончаки, а за ними тянется сине-зеленая гряда голых холмов. В поле крестьяне нагружают сеном два больших старых фургона. Стая диких уток, описав в небе круг, плавно снижается над озером. Закат лета, время покоя и изобилия. Покой – вот что главное, считаю я, и, может быть, даже любой ценой.

В двух милях южнее города однообразие песчаной равнины нарушено небольшим островком дюн. Ловить в болоте лягушек и кататься со склонов дюн на гладких деревянных санках – излюбленные летние развлечения местной детворы: лягушек дети ловят утром, а с дюн катаются вечером, когда солнце садится и песок начинает остывать. Хотя ветер дует здесь круглый год, дюны не рассыпаются, их удерживают покров чахлой травы и, как я случайно узнал несколько лет назад, деревянные каркасы. Дело в том, что дюны скрывают под собой развалины домов, возведенных в древние времена, еще до присоединения западных провинций, задолго до того, как была построена крепость.

Раскопки этих руин давно стали одним из моих увлечений. В тех случаях, когда городу не требуется рабочая сила для починки оросительных каналов и плотины, я за незначительные нарушения закона приговариваю виновных к нескольким дням работы на дюнах; сюда же я отправляю солдат, получивших дисциплинарные взыскания; было время, когда раскопки настолько меня захватили, что я даже нанимал поденщиков и платил им из своего кармана. Но работать здесь никому не по душе, ведь копать приходится под палящим

солнцем или колючим ветром, укрыться негде, отовсюду летит песок. И потому люди работают в дюнах, не разделяя моего интереса (им он кажется чудачеством); их удручает, что песок тут же ползет обратно. Тем не менее за эти годы мне все же удалось откопать до уровня пола несколько наиболее крупных строений. Одно из них, откопанное последним, выступает из песка, как потерпевший крушение корабль, и его видно даже с городской стены. Среди обломков этого здания, возможно бывшего когда-то общественным учреждением или храмом, я и подобрал тот тяжелый, вытесанный из тополя карниз, который сейчас висит у меня над камином: на карнизе резной узор в виде переплетенных, выпрыгнувших из воды рыб. И там же, в нише под полом, в мешке, который рассыпался от первого прикосновения, я нашел набор деревянных табличек, покрытых значками письменности, не похожей ни на один известный мне алфавит. Такие таблички, разбросанные среди руин, словно бельевые прищепки, мы находили и раньше, но в большинстве они были настолько отполированы песком, что письма на них стали почти неразличимы. На этих же, новых, каждый значок виден так ясно, будто его вывели вчера. В надежде расшифровать загадочную письменность я принялся собирать все таблички подряд, не отбрасывая ни одной, а играющим в дюнах детям обещал за каждую такую находку небольшое вознаграждение.

Бревна, которые мы откапываем, насквозь высохли и крошатся. Многие из них сохранили свою первоначальную форму только благодаря плотно сковавшему их слою песка и на воздухе мгновенно превращаются в труху. Другие ломаются, едва к ним прикоснешься. Возраст древесины мне неизвестен. В легендах варваров – а все они скотоводы, кочевники, живут в шатрах – не встречается упоминаний о каком-либо постоянном поселении близ озера. Человеческих останков среди руин нет. Если здесь и было кладбище, то мы его пока не нашли. В раскопанных домах нет никакой мебели. Однажды в куче золы мне попались черепки из необожженной глины и что-то коричневое, рассыпавшееся на моих глазах в пыль – возможно, когда-то это был кожаный башмак или шапка. Я не знаю, где брали дерево для строительства этих домов. Может быть, в те далекие времена отсюда гнали к реке преступников, рабов, солдат, и, пройдя двенадцать миль, они вырубали тополя, пилили их, привозили на телегах отесанные бревна в это голое, бесплодное место и строили дома, а может быть, и крепость, кто знает, а потом со временем умирали, и все ради того, чтобы их хозяева – префекты, судьи, военачальники – могли утром и вечером подниматься на крыши и башни и обозревать мир от края и до края, дабы вовремя заметить приближение варваров. Возможно, в моих раскопках я зацепил лишь самый верхний слой. Возможно, на десять футов ниже лежат руины другой крепости, в свое время разрушенной варварами и ныне населенной лишь скелетами тех, кто

рассчитывал обрести безопасность за высокими стенами. Возможно, стоя на полу раскопанного суда – если это строение действительно было судом, – я стою над костями другого судьи, такого же, как я, убеленного сединами слуги Империи, который пал при исполнении служебных обязанностей, наконец-то столкнувшись с варварами лицом к лицу. Но как это узнать? Подобно кролику, зарываться в землю все глубже и глубже? Подскажут ли когда-нибудь разгадку письма на табличках? В мешке табличек было двести пятьдесят шесть штук. А вдруг это число неслучайно? Когда я их впервые пересчитал и заподозрил в числе скрытый смысл, я расчистил свой кабинет и начал раскладывать их на полу: вначале я выложил из них один большой квадрат, потом шестнадцать маленьких, потом перепробовал множество других комбинаций, полагая, что значки, которые я сперва принял за элементы слоговой азбуки, на деле могут оказаться кусочками мозаичной картины и она, если я набреду на правильный вариант, внезапно откроется передо мной во всей полноте: древняя карта страны варваров или изображение исчезнувшего пантеона. Я даже дошел до того, что изучал отражение табличек в зеркале, складывал их в столбик, объединял поочередно в пары и совмещал половинку одной таблички с половинкой другой.

Однажды вечером – дети уже разбежались по домам ужинать – я в одиночестве бродил среди руин, пока не опустились фиолетовые сумерки и не зажглись первые звезды, пока не наступил тот час, когда, по преданию, пробуждаются ото сна призраки. Как научили меня дети, я приложил ухо к земле, чтобы услышать в ее глубинах то же, что слышат они: глухой шум, стоны, далекую прерывистую дробь барабанов. Щеку ополоснуло шорохом песчинок, катящихся через пустошь из ниоткуда в никуда. Последний свет угас, очертания крепости поблекли, а потом и вовсе растворились в темноте. Я прождал целый час: закутанный в плащ, я сидел, прислонясь к углу древнего дома, в котором когда-то, должно быть, и разговаривали, и ели, и играли на музыкальных инструментах. Я сидел, глядя, как восходит луна, сидел, раскрыв все свое существо навстречу ночи, и ждал знамения, способного подтвердить, что я прав в моих догадках и то, что окружает меня, то, что лежит у меня под ногами, есть нечто большее, чем просто песок, тлен, ржавчина, черепки и зола. Но знамения не было. Я не испытывал ни трепета, ни леденящего страха. Сидеть в песке было тепло. И вскоре я заметил, что клюю носом.

Я встал, потянулся и устало побрел домой сквозь напоенную ароматом темноту; дорогу мне подсказывали тускло мерцавшие в небе отблески домашних очагов. Как это глупо, думал я: вместо того чтобы вовремя вернуться домой, съесть свой солдатский ужин и лечь спать, пожилой человек решает вдруг посидеть в

темноте и дожидаться, когда с ним заговорят голоса прошлого. Небо над нами – всего лишь небо, и оно ничуть не презреннее и ничуть не благороднее неба над хибарками, домами, храмами и учреждениями столицы. Небо есть небо, жизнь есть жизнь – все всюду одинаково. Но я, человек, живущий за счет труда других, человек, лишенный изысканных пороков, которыми мог бы заполнять досуг, – я заботливо лелею свою тоску и пытаюсь усмотреть в пустоте некий пикантный каприз истории. Тщеславие, праздность, самообман! Какое счастье, что никто меня сейчас не видит!

Сегодня, спустя всего четыре дня после выезда полковника в экспедицию, прибывает первая партия пленных. Из своего окна я вижу, как они плетутся через площадь под конвоем едущих верхом солдат; все в пыли, изнуренные, они шарахаются от уже набежавшей толпы, от резвящихся детей, от лающих собак. В тени гарнизонной стены солдаты спешиваются; пленные немедленно садятся на корточки отдохнуть, все, кроме маленького мальчика, который остается стоять на одной ноге и, оперевшись о плечо матери, с любопытством глядит на зевак. Пленные жадно пьют, а толпа тем временем растет и смыкается вокруг них таким плотным кольцом, что мне ничего не видно. В нетерпении жду солдата, который, проталкиваясь сквозь толпу, шагает через двор гарнизона.

– Что все это значит? – кричу я на него. Он кланяется и шарит в карманах. – Они же рыбаки! Зачем вы их сюда пригнали?

Он протягивает мне письмо. Взламываю печать и читаю: «Прошу до моего возвращения держать этих и последующих пленных в полной изоляции». Под его подписью стоит еще одна печать, печать Третьего отдела, которую он взял с собой в пустыню и на поиски которой, если полковник погибнет, мне, без сомнения, придется отправлять вторую экспедицию.

– Он болван! – кричу я. В бешенстве бегаю по комнате. Никогда не следует порицать офицеров в присутствии солдат, равно как и порицать отцов в присутствии детей, но этот человек не вызывает у меня и намека на уважение. – Неужели никто не сказал ему, что они из племени рыбаков? Тащить их сюда напрасная трата времени! Вы должны были помочь ему выследить воров, бандитов, врагов Империи! Разве не видно, что эти люди не представляют для Империи никакой опасности? – Выбрасываю письмо в окно.

Толпа при моем приближении расступается, и вот я уже стою перед кучкой жалких, оборванных пленных. Видя мой гнев, они дрожат, мальчик прижимается к матери. Приказываю солдатам:

– Разгоните толпу и отведите этих людей на гарнизонный двор!

Солдаты подталкивают пленных, все мы входим во двор, ворота за нами закрываются.

– А теперь объясните, – говорю я. – Неужели никто не сказал ему, что от этих пленных никакого толка? Неужели вы не сказали ему, что рыбаки с сетями – это одно, а дикие кочевники на лошадях и с луками – совсем другое? Неужели никто не сказал, что у них даже язык разный?

– Когда они нас увидели, они побежали в камыши, – объясняет какой-то солдат. – Они увидели, что мы верхом, и хотели спрятаться. Тогда его милость приказали нам взять их в плен. Потому что они прятались.

От досады я готов выругаться. Жандарм! Логика жандарма!

– А его милость не сказал, зачем нужно гнать их сюда? Он не объяснил, почему не может допросить их на месте?

– Так мы ж никто их языка не знаем, ваша милость.

Ничего удивительного! Эти рыбаки – аборигены, племена «речных людей» появились здесь даже раньше кочевников. Живут они вдоль реки маленькими колониями по две-три семьи, большую часть года ловят рыбу и охотятся, осенью плывут на лодках к далеким южным берегам озера, где ловят и сушат красных червей; ютятся они в хлипких соломенных хижинах, зимой страдают от холода, одеждой им служат шкуры животных. Боятся кого угодно, чуть что прячутся в камышах – что могут они знать о великой кампании варваров против Империи?

Посылаю солдата на кухню за едой. Он приносит вчерашнюю лепешку и протягивает ее самому старому из пленных. Тот почтительно принимает хлеб двумя руками, обнюхивает, ломает лепешку на куски и раздает остальным. Они набивают рот этой райской манной и быстро жуют, не поднимая глаз. Одна из

женщин выплевывает пережеванный хлеб на ладонь и кормит этой кашницей младенца. Делаю знак, чтобы принесли еще хлеба. Мы стоим и смотрим, как они едят, будто перед нами не люди, а экзотические звери.

– Пусть пока поживут во дворе, – говорю я солдатам. – Нас это будет затруднять, но больше держать их негде. Если вечером похолодает, я скажу, как быть дальше. Следите, чтобы их кормили. Придумайте им какое-нибудь занятие, чтобы не сидели без дела. Ворота держите на запоре. Сбежать они не сбегут, но я не хочу, чтобы сюда ходили всякие бездельники и глазели.

Так и получается, что я усмиряю свой гнев и выполняю приказ полковника: держу его бесполезных пленных «в изоляции». А через день-два эти дикари словно и забыли, что когда-то у них был другой дом. Дармовая обильная еда и прежде всего хлеб развратили их, они перестали бояться, улыбаются кому угодно, разгуливают по двору, выбирая, где больше тени, подремывают, потягиваются, а когда приближается время кормежки, приходят в радостное возбуждение. Они лишены стыда и нечистоплотны. Один угол двора превратился в отхожее место, где мужчины и женщины открыто справляют нужду и где весь день жужжат тучи мух. («Дайте им лопату!» – приказываю я, но, получив лопату, пленные ею не пользуются.) Маленький мальчик, напрочь потеряв страх, то и дело бегают на кухню и кланчат сахар. Сахар и чай для этих людей такое же ошеломляющее открытие, как хлеб. Каждое утро им выдают брикетик прессованного чая, и они варят его в большой бадье, установленной на треноге над костром. Они здесь всем довольны; если мы их не прогоним, они, чего доброго, останутся жить у нас навсегда – как мало, оказывается, надо, чтобы соблазнить их и вывести из привычного состояния. Часами наблюдаю за ними из верхнего окна (другие бездельники вынуждены глазеть сквозь решетку ворот). Я наблюдаю, как их женщины давят вшей, расчесывая и заплетая друг другу в косы длинные черные волосы. Некоторых мучают приступы сухого хриплого кашля. Меня удивляет, что, кроме грудного младенца и маленького мальчика, среди них нет больше детей. Быть может, кое-кому, самым проворным и бдительным, все же удалось сбежать от солдат? Хорошо, если так. Мне хочется верить, что, когда мы вернем их домой, на реку, им будет что рассказать соседям о своих удивительных приключениях. Мне хочется верить, что история их житья в плену станет легендой, одной из тех, что переходят от деда к внуку. Но еще мне хочется верить, что воспоминания о нашем городе, о здешней легкой жизни и диковинной пище окажутся не слишком живучи и не помянут их обратно. Мне ни к чему тут целое племя попрошаек.

Несколько дней «речные люди» остаются главным развлечением города: всех забавят их странное бормотание, их неумный аппетит, животное бесстыдство и внезапные вспышки ярости. Толпясь в дверях казармы, солдаты разглядывают их, отпускают непристойные замечания, которые тем непонятны, и гогочут; к решетке ворот весь день липнут дети; я же наблюдаю сверху, из окна, невидимый за стеклом.

Потом внезапно все мы разом понимаем, что они нам надоели. Грязь, вонь, шумные ссоры, кашель – терпеть это нет сил. Происходит неприятный случай: солдат пытается затащить одну из их женщин в казарму, может быть в шутку, кто знает, и его закидывают камнями. Ползет слух, что они больны и городу угрожает эпидемия. Несмотря на то что я приказываю вырыть в углу двора яму и вывозить нечистоты, на кухне отказываются выдавать пленным миски и бросают им еду прямо на землю, словно они и в самом деле звери. Солдаты запирают двери казармы, дети больше не приходят к воротам. Ночью кто-то перекидывает через стену дохлую кошку, и во дворе поднимается переполох. Долгими жаркими днями они бесцельно слоняются по пустому двору. Младенец плачет, кашляет, снова плачет и снова кашляет – не выдержав, я забиваюсь в самый дальний угол своей квартиры. Пишу резкое письмо в Третий отдел, неусыпно оберегающий Империю, и сердито жалуюсь на некомпетентность одного из их эмиссаров. «Почему для расследования пограничных беспорядков вы посылаете людей, не имеющих опыта работы на границе?» – пишу я. У меня достаёт мудрости порвать это письмо. Если глубокой ночью открыть ворота, размышляю я, догадаются ли они сбежать? Но ничего не предпринимаю. Потом в один из дней замечаю, что младенец больше не плачет. Выглядываю в окно: ребенка нигде не видно. Посылаю солдата, он обыскивает мать младенца и находит крошечное мертвое тельце у нее под одеждой. Она не желает с ним расставаться, мы вынуждены силой вырвать его у нее из рук. После этого она весь день в одиночестве сидит на корточках, закрыв лицо, и отказывается есть. Соплеменники, как мне кажется, брезгливо обходят ее стороной. Может быть, отобрав и похоронив ребенка, мы нарушили какой-то их обычай? Я проклиная полковника Джолла за все те неприятности, которые он на меня навлек, и за этот стыд. Потом, среди ночи, он неожиданно возвращается. На крепостных стенах трубят фанфары, их звуки вторгаются в мой сон, в казарме суета, солдаты бестолково хватают оружие. Мысли у меня путаются, одеваюсь я медленно, и, когда наконец появляюсь на площади, отряд уже входит в ворота: одни едут верхом, другие ведут лошадей под уздцы. Я стою в стороне, а собравшаяся толпа окружает солдат, их хлопают по плечу, обнимают, слышится радостный смех («Все живы!» – кричит кто-то), отряд продвигается вперед, и вот в середине колонны я вижу то, чего так страшился: за черной каретой тащатся



пленные, они идут гуськом, связанные друг с другом за шею общей веревкой, бесформенные фигуры в одеждах из шкур, озаренные серебряным светом луны; шествие замыкают несколько солдат, которые ведут за собой телеги и вьючных лошадей. Тем временем зрителей набегает все больше, кое у кого в руках горящие факелы, шум нарастает, и, не желая присутствовать при триумфе полковника, я пробираюсь сквозь толпу назад, к себе домой. Только теперь я понимаю, как прогадал, выбрав неудобную квартиру над складом и кухней – она предназначалась для военного коменданта, которого в гарнизоне нет уже долгие годы, – вместо того, чтобы поселиться в отведенном судье красивом особнячке с геранью на окнах. Как бы я был рад погасить в ушах шум и крики со двора, вероятно теперь уже навсегда превратившегося в тюрьму. Я чувствую себя старым и больным, я хочу спать. В последнее время, едва выпадает свободная минута, я сразу засыпаю, а когда просыпаюсь, мне хочется заснуть снова. Сон перестал быть для меня целебной ванной, восстановлением жизненных сил; он теперь – лишь забвение, лишь еженощная встреча с небытием. Жить на этой квартире и дальше мне вредно, думаю я, но дело не только в этом. Если бы я жил в положенном мне по чину особнячке на нашей самой тихой улице, если бы по понедельникам и четвергам проводил судебные заседания, каждое утро ездил на охоту, а вечера посвящал чтению классики и не обращал внимания на деятельность этого жандарма-высочки; если бы я благоразумно уехал и, помалкивая, переждал эти черные дни, тогда, возможно, я не чувствовал бы себя сейчас в положении человека, который, попав во власть подводного течения, сдается без борьбы, перестает плыть и поворачивается лицом к морю и смерти. Но я ведь и сам понимаю, как непрочное мое недовольство, как зависит оно от того, например, что какой-то младенец вчера вопил под моим окном, а сегодня не вопит, – именно сознание собственной неустойчивости вызывает у меня величайший стыд и величайшее безразличие к небытию. Пожалуй, я понимаю слишком много, а это недуг, заразившись которым вряд ли излечишься. Я ни в коем случае не должен был брать фонарь и идти выяснять, что происходит в пристройке у амбара. Но, с другой стороны, взяв фонарь, я уже никак не мог поставить его на место. Нить запутывается в клубок сама собой; конца ее мне не найти.

Весь следующий день полковник отсыпается в своих покоях, и прислуга в трактире ходит на цыпочках. Я стараюсь не обращать внимания на новую партию пленных во дворе. Очень досадно, что двери казармы, как и лестница, ведущая в мою квартиру, выходят во двор. С первыми лучами солнца торопливо ухожу из дома, весь день занимаюсь подсчетом городских доходов, а вечером ужинаю у друзей. На обратной дороге встречаю молодого лейтенанта, того, что сопровождал полковника Джолла в пустыне, и поздравляю его с благополучным

возвращением.

– Но почему вы не объяснили полковнику, что рыбаки никак не смогут помочь его расследованию?

У лейтенанта смущенный вид.

– Я пытался, – говорит он, – но полковник не слушал. «Пленные есть пленные» – вот все, что он сказал. Ну я и решил с ним не спорить, я не в том звании.

На другой день полковник начинает допросы. Раньше мне казалось, что он ленив, что он попросту бюрократ с порочными наклонностями. Теперь вижу, как я ошибался. В своих поисках истины он не знает усталости. Допросы начинаются рано утром, а когда я после захода солнца возвращаюсь домой, они все еще продолжаются. Полковник взял себе в помощники старика, который всю жизнь проохотился на кабанов в верховьях и низовьях реки и знает сотню слов на «речном» языке. Одного за другим рыбаков ведут в комнату, где обосновался полковник, и спрашивают, не замечали ли они передвижения каких-нибудь всадников. Вопрос задается даже ребенку: «К твоему отцу не приходили по ночам чужие?» (Я, конечно, могу только догадываться о том, что там происходит, могу лишь представлять себе и этот страх, и растерянность, и унижение.) Затем пленных ведут не назад во двор, а в главный коридор казармы: солдат временно выселили и расквартировали в городе. Закрыв все окна, сижу в тяжелой духоте безветренного вечера, пытаюсь читать и напрягаю слух, чтобы расслышать или, наоборот, не слышать звуков насилия. Наконец в полночь допросы прекращаются, хлопанье дверей и топот сапог смолкают, залитый лунным светом двор погружается в тишину, и я позволяю себе лечь спать.

Радость ушла из моей жизни. Весь день я вожусь с какими-то списками и цифрами, растягиваю минутную работу на часы. Вечером ужинаю в трактире, потом, не желая возвращаться домой, поднимаюсь наверх, в лабиринт разгороженных клетушек, где ночуют конюхи и где девушки принимают у себя мужчин.

Сплю как убитый. Проснувшись, в тусклом свете раннего утра вижу, что моя подруга, свернувшись калачиком, лежит на полу. Я трогаю ее за плечо:

- Почему ты спишь на полу?

Она улыбается:

- Ничего страшного. Мне тут вполне удобно. - Ей действительно там удобно: лежа на мягком ковре из овчины, она потягивается и зевает, ее маленькое тело не закрывает собой и половины ковра. - Ты во сне очень ворочался, потом велел мне уйти, я и решила, что лучше лягу здесь.

- Я велел тебе уйти?

- Да. Во сне. Ты не огорчайся.

Она залезает в постель ко мне под бок. Я обнимаю ее с благодарностью, но без страсти.

- Сегодня вечером, пожалуй, снова к тебе приду, - говорю я.

Она по-щенячьи тыкается носом мне в грудь. Я вдруг понимаю, что любое мое слово отзовется в ней сочувствием и лаской. Но что, что я могу ей сказать? «Пока мы с тобой спим, ночью творятся страшные дела»? Шакал выгрызает у зайца нутро, а жизнь как шла, так и идет.

Еще один день и еще одну ночь провожу вдали от царства боли. Засыпаю в объятиях моей девушки. Но утром она снова спит на полу. Видя мое смущение, она смеется:

- Ты брыкался и выпихнул меня. Только не огорчайся. Во сне мы себе не хозяева.

Кряхчу и отворачиваюсь. Я знаю ее уже год, и бывает, что хожу к ней по два раза в неделю. Отношусь я к ней со спокойной ровной теплотой, что, наверное, и лучше всего, если мужчина далеко не молод, а девушке двадцать лет; и, уж конечно, это лучше, чем страстная требовательная любовь. Иногда я даже подумываю, не позвать ли ее жить у меня. Пытаюсь вспомнить, что же за кошмар снится мне каждый раз, когда я спихиваю ее с постели, но ничего вспомнить не могу.

– Если со мной опять это повторится, обещаю, что ты меня разбудишь, – прошу я.

Позже, в суде, когда я сижу у себя в кабинете, докладывают, что ко мне пришли. Входит полковник Джолл и, не снимая своих черных наглазников, садится напротив меня. Предлагаю ему чаю, и мне даже самому странно, что чашка у меня в руке не дрожит. Он говорит, что уезжает. Наверное, надо постараться скрыть радость? Сохраняя безупречно прямую осанку, он потягивает чай и внимательно разглядывает комнату, ярусы полок, хранящих перевязанные ленточкой стопки документов – итог десятилетий скучнейшей административной деятельности, шкафчик с книгами по юриспруденции, заваленный бумагами письменный стол. Он говорит, что временно прекратил расследование и должен спешно отбыть в столицу с отчетом. В его тоне сквозит тщательно скрываемое торжество. Понимающе киваю.

– Если могу чем-либо способствовать вашему путешествию... – говорю я. На мгновение в комнате повисает тишина. Затем небрежно, будто камешек в пруд, роняю в эту тишину мой вопрос: – Ну и как же ваши изыскания, полковник? Я имею в виду опросы кочевников и аборигенов. Дали они те результаты, на которые вы рассчитывали?

Готовясь ответить, он складывает руки лодочкой, пальчик к пальчику. Мне кажется, он знает, как раздражает меня его манерничанье.

– Да, судья. Могу сказать, что некоторых успехов мы добились. Если к тому же помнить, что подобные расследования согласованно проводятся сейчас и на других участках границы.

– Очень рад. Тогда, может быть, скажете, следует ли нам чего-либо опасаться? Или мы можем спать спокойно?

Уголок его рта кривится в еле заметной улыбке. Затем он встает, кланяется, поворачивается и уходит. Назавтра, ранним утром, в сопровождении своего немногочисленного эскорта он отбывает, выбрав для возвращения в столицу долгий путь по восточной дороге. Все эти трудные дни и он, и я умудрялись вести себя как воспитанные люди. Я всю жизнь считал, что вести себя иначе недопустимо; в данном же случае, не стану отрицать, я вспоминаю о собственном поведении с гадливостью.

Первым делом посещаю пленных. Отпираю казарму, коридор которой стал их тюрьмой, тошнотворный запах пота и экскрементов мгновенно переполняет меня отвращением, и я распахиваю двери настежь.

– Выведите их отсюда! – кричу я полураздетым солдатам, которые стоят во дворе и, наблюдая за мной, доедают свою овсянку. Из мрака коридора на меня тупо глядят пленные. – Идите туда и все там вымойте! – кричу я. – Чтобы все немедленно вымыть! С мылом! Чтобы все было как раньше!

Солдаты спешат выполнить мой приказ; но почему свой гнев я срываю на них, вероятно, спрашивают они себя. Моргая, прикрывая глаза руками, на залитый светом двор выходят пленные. Одна из женщин самостоятельно идти не может. Она трясется, как старуха, хотя еще молода. Некоторые настолько ослабели, что не в силах встать на ноги.

Последний раз я видел их пять дней назад (если вообще могу утверждать, что их видел, что позволил себе нечто большее, чем неохотно скользнуть по ним отсутствующим взглядом). Что они вынесли за эти пять дней, мне неизвестно. Согнанные своими стражами в угол двора, они стоят сейчас, сбившись в жалкую кучку, рыбаки и кочевники вместе, больные, голодные, изувеченные, напуганные. Лучше всего было бы немедленно завершить эту мрачную главу всемирной истории, лучше всего было бы стереть этих уродов с лица земли и поклясться, что мы начнем все сначала, что мы встанем у кормила Империи, в которой больше не будет несправедливости, не будет страданий. С очень небольшими денежными затратами можно было бы вывести их строем в пустыню (предварительно накормив, чтобы они смогли идти), заставить их вырыть – из последних сил – большую яму, такую, чтобы хватило места на всех (или даже самим вырыть ее для них!), и, похоронив их там на веки вечные, вернуться в стены города полными новых надежд и дерзаний. Но этот путь не для меня. В «начать сначала», в новые главы и в чистые страницы верят новые люди Империи; я же упорно дочитываю старую, уже написанную книгу, в надежде, что, прежде чем я ее захлопну, она ответит мне, почему я когда-то вообразил, что стоит за нее браться. Итак, раз уж бразды правления в этих краях сегодня снова перешли в мои руки, приказываю, чтобы пленных накормили, чтобы вызвали лекаря и он сделал все, что может; чтобы казарма снова стала казармой и чтобы были приняты меры, которые позволят пленным вернуться к своей прежней жизни как можно скорее и как можно дальше от нас.

Она стоит на коленях в тени стены, неподалеку от гарнизонных ворот, закутанная в слишком просторный для нее балахон; на земле перед ней лежит меховая шапка. Как у всех варваров, у нее прямые брови и блестящие черные волосы. Почему женщина из племени варваров оказалась в городе и просит милостыню? В шапке лишь несколько мелких монет.

В тот день прохожу мимо нее еще дважды. И оба раза она ведет себя как-то странно: пока я далеко, она смотрит прямо перед собой, а когда я приближаюсь, медленно отворачивается. Проходя второй раз, бросаю в шапку монету.

– Уже поздно, и на улице холодно, – говорю я.

Она кивает. Солнце садится в полосу черных туч; северный ветер несет с собой первые снежинки; площадь пуста; иду дальше. На следующий день ее там нет. Подхожу к привратнику.

– Тут вчера какая-то девушка весь день просила милостыню. Кто она и откуда? – спрашиваю я.

Он отвечает, что она слепая. Из тех варваров, которых пригнал полковник. Они все ушли, а ее бросили.

Несколько дней спустя вижу ее на площади: опираясь на две палки, она шагает медленно и неуклюже, полы овчинного балахона волочатся за ней в пыли. Распоряжаюсь, чтобы ее привели ко мне; и вот она уже стоит передо мной на своих подпорках.

– Сними шапку, – говорю я.

Солдат, которому я велел ее привести, снимает с девушки шапку. Да, это она: те же черные волосы, подстриженные на лбу неровной челкой, тот же широкий рот и те же черные глаза, глядящие как бы сквозь меня, как бы мимо.

– Мне сказали, ты слепая.

– Нет, я вижу, – говорит она. И, переведя глаза с моего лица вправо, смотрит на что-то у меня за спиной.

– Ты откуда?

Невольно кошусь через плечо: за спиной у меня ничего нет, она смотрит на голую стену. Взгляд ее тревожно застывает. Наперед зная ответ, повторяю вопрос. Она встречает его молчанием.

Отпускаю солдата. Мы остаемся одни.

– Я знаю, кто ты, – говорю я. – Будь добра, сядь.

Беру у нее палки и помогаю усесться на табурет. Под балахоном на ней широкие льняные панталоны, заправленные в грубые, тяжелые сапоги. От нее пахнет дымом, несвежим бельем, рыбой. Руки у нее в мозолях.

– Ты живешь подаянием? – спрашиваю я. – В городе тебе не место, ты же знаешь. Мы в любое время можем тебя выгнать и отправить назад, к твоему племени.

Она молча сидит и все так же странно глядит перед собой в стену.

– Посмотри на меня, – говорю я.

– А я смотрю. Я так вижу.

Несколько раз провожу рукой у нее перед лицом. Она моргает. Придвигаюсь вплотную и заглядываю ей в глаза. Она переводит взгляд со стены на меня. Молочные, чистые, как у ребенка, белки подчеркивают черноту зрачков. Прикасаюсь к ее щеке; девушка вздрагивает.

– Я спросил, чем ты зарабатываешь на жизнь?

Она пожимает плечами:

– Стираю.

- Где ты живешь?

- Когда где.

- Бродяг мы в город не пускаем. Зима уже на подходе. Тебе нужно найти жилье. Иначе ты должна будешь вернуться к своим.

Она упрямо молчит. Чувствую, что хватит ходить вокруг да около.

- Могу предложить тебе работу. Я как раз ищу кого-нибудь, кто возьмется здесь убирать и стирать. Моя нынешняя служанка меня не устраивает.

Она понимает, о чем я. Сидит очень прямо, руки держит на коленях.

- У тебя кто-нибудь есть? Пожалуйста, не молчи.

- Нет. - Голос у нее срывается на шепот. Она откашливается. - Я одна.

- Я предлагаю тебе работать у меня. Ходить по улицам и просить милостыню ты больше не сможешь. Я этого не разрешу. И тебе нужен кров над головой. Если пойдешь ко мне работать, поселю тебя с моей кухаркой.

- Вы не понимаете. Вам такая не годится. - Она ощупью находит свои палки. Убеждаюсь, что она слепая. - Я ведь... - Она выставляет вверх указательный палец, зажимает его другой рукой в кулак и крутит. Что означает этот жест, мне совершенно непонятно. - Можно, я пойду?

До лестницы она добирается сама, но на площадке вынуждена остановиться и ждать, пока я помогу ей спуститься по ступенькам.

Проходит еще один день. Смотрю в окно: ветер гонит по площади вихри пыли. Двое мальчишек играют с обручем. Они запускают его в самую пыль. Обруч катится вперед, замирает на месте, качается, катится назад, падает. Мальчишки, задрав голову, бегут за обручем, ветер резко откидывает им волосы со лба, и я вижу чистые детские лица.



Нахожу девушку и останавливаюсь перед ней. Она сидит, привалившись к стволу большого орехового дерева; может быть, даже спит – понять трудно.

– Пойдем. – Я трогаю ее за плечо. Она мотает головой. – Пойдем, – повторяю я. – Все разошлись по домам.

Поднимаю с земли шапку и, выбив из нее пыль, протягиваю девушке, потом помогаю ей встать и медленно шагаю рядом с ней через площадь, где уже не осталось ни души и только привратник пялится на нас, загораживая глаза от света.

В камине горит огонь. Задергиваю занавески, зажигаю лампу. Сесть на табуретку девушка отказывается, но палки мне отдает и, опустившись на ковер, стоит посреди комнаты на коленях.

– Все совсем не так, как ты думаешь, – говорю я.

Каждое слово дается мне с трудом. Неужели я собираюсь перед ней оправдываться?

Губы ее крепко сжаты, слышать она, без сомнения, тоже ничего не желает – очень ей нужен какой-то старик, да еще терзаемый угрызениями совести! Я суетливо расхаживаю вокруг, что-то объясняю про наши законы о бродягах и сам себе противен. В тепле наглухо закрытой комнаты лицо у нее розовеет. Она тербит свой балахон и, открыв шею, поворачивается к огню. Я мало чем отличаюсь от тех, кто ее пытал, неожиданно сознаю я, и меня передергивает.

– Покажи мне твои ноги, – прошу я каким-то новым для себя, сиплым голосом. – Покажи, что они сделали с твоими ногами.

Она мне не помогает, но и не противится. Неловко развязываю тесемки ее балахона, распахиваю его, стягиваю с нее сапоги. Сапоги – мужские и непомерно ей велики. Без сапог ее обмотанные тряпками ноги кажутся бесформенными.

– Дай я посмотрю, – говорю я.

Она начинает разматывать грязные тряпки. Выхожу из комнаты, спускаюсь в кухню и приношу оттуда таз и кувшин с теплой водой. Она сидит на ковре и ждет, ноги она уже размотала. Ступни у нее широкие, пальцы – как обрубки, на ногтях – корка грязи.

Она проводит рукой наискось по лодыжке.

– Вот здесь сломали. И другую тоже.

Она откидывается на спину и, оперевшись локтями в пол, вытягивает ноги вперед.

– Болит?

Я провожу пальцем по линии перелома и ничего не чувствую.

– Уже нет. Зажило. Может быть, зимой заболит. От холода.

– Ты лучше-ка сядь.

Помогаю снять балахон, усаживаю ее на табуретку и начинаю мыть ей ноги. В первые минуты мышцы ее напряжены, потом она их расслабляет.

Действую неторопливо: взбиваю мыльную пену, крепко сжимаю тугие икры, разминаю косточки и связки, скольжу руками вниз, мою между пальцами. Не поднимаясь с колен, меняю положение и сажусь не лицом к ней, а боком, чтобы можно было локтем прижать ее ногу к себе.

Растворяюсь в ритме собственных движений. О девушке я забываю. Время останавливается на неизвестный срок; может быть, меня здесь нет вообще. Потом прихожу в себя: руки у меня обмякли, голова упала на грудь, в тазу передо мной по-прежнему стоят ее ноги.

Я вытираю правую, на коленях ползу вокруг таза, усаживаюсь с другой стороны, закатываю штанину широких панталон выше колена и, борясь с дремотой, принимаюсь мыть левую ногу.

– В этой комнате иногда бывает очень жарко, – говорю я. Но ее нога прижимается ко мне все так же плотно. И я продолжаю мыть. – Я найду тебе чистые бинты, – обещаю я, – но только не сейчас.

Отодвигаю таз и вытираю вымытую ногу. Чувствую, как девушка пытается встать; теперь уж пусть сама, думаю я. Глаза у меня закрываются. Какое, оказывается, великое наслаждение держать их закрытыми, как упоительна эта блаженная зыбкость! Растягиваюсь на ковре. В следующее мгновение я уже сплю. Среди ночи просыпаюсь, окоченевший от холода. Огонь в камине погас, девушки в комнате нет.

Она ест, а я смотрю. Ест она, как едят слепые: уставилась в пустоту и все на столе находит на ощупь. У нее прекрасный аппетит, аппетит молодой здоровой крестьянки.

– Я не верю, что ты видишь, – говорю я.

– Нет, я вижу. Просто когда я смотрю прямо, там ничего нет, там...

Она делает рукой несколько кругообразных движений, будто моет окно.

– Пятно, – подсказываю я.

– Да, там пятно. Но то, что по краям, я вижу. Левый глаз у меня видит лучше, чем правый. Если бы я не видела, как бы я ходила?

– Это после них у тебя так?

– Да.

– А что они с тобой делали?

Она пожимает плечами и молчит. Тарелка перед ней пуста. Снова накладываю ей тушеных бобов, которые вроде бы так ей нравятся. Она очень быстро все подчищает, потом, прикрыв рот ладонью, рыгает и улыбается.

– От бобов пучит, – говорит она.

В комнате тепло, балахон висит в углу, сапоги стоят там же, и девушка сейчас только в белой рубашке и панталонах. Когда она не смотрит на меня, я для нее лишь серый силуэт, чьи непредсказуемые передвижения она видит краями глаз где-то сбоку от себя. А когда она смотрит на меня прямо, я – пятно, я – голос, я – запах, я – то живое и сильное, что вчера мыло ей ноги и заснуло и что сегодня кормит ее бобами, а завтра – что будет завтра, она не знает.

Наливаю в таз воды, усаживаю девушку на табурет и закатываю ей панталоны выше колен. Сейчас в воде у нее обе ноги, и видно, что левая завернута внутрь больше, чем правая; я понимаю, что, когда девушка встает, она вынуждена стоять на внешних ребрах стоп. Щиколотки у нее толстые, опухшие, бесформенные, в багровых рубцах.

Начинаю ее мыть. Она приподнимает сначала одну ногу, потом другую. Разминаю и массирую в мягкой молочной пене ее вялые пальцы. Вскоре глаза у меня закрываются, голова падает на грудь. Я испытываю странное блаженство.

Вымыв ей ступни, мою лодыжки, икры, колени. Девушке приходится встать в тазу и опереться о мое плечо. Руки у меня скользят вверх и вниз, от лодыжек к коленям и обратно, вверх и вниз; пальцы щупают, гладят, мнут. Ноги у нее короткие и крепкие, икры мускулистые. Иногда мои пальцы забегают в сгиб под коленом, прослеживают линии сухожилий и вдавливаются в ямку между ними. Легко, как пушинки, пальцы взлетают выше и касаются ее бедер.

Довожу ее до кровати и вытираю теплым полотенцем. Начинаю стричь и чистить ей ногти, но сон уже накатывает на меня волнами. То и дело клюю носом и в оцепенении тяжело клонюсь вперед. Осторожно откладываю ножницы. Затем в чем был, одетый, ложусь рядом с девушкой, головой к ее ногам. Обнимаю ее за икры, опускаю голову ей на колени и в тот же миг засыпаю.

Просыпаюсь в темноте. Лампа погасла, в комнате пахнет горелым фитилем. Встаю и раздвигаю занавески. Девушка спит, сжавшись в комочек, подтянув колени к груди. Когда я прикасаюсь к ней, она стонет и еще больше сжимается.

– Замерзнешь, – говорю я, но она не слышит.

Накрываю ее одеялом, потом еще одним.

Сначала идет ритуал мытья, для которого она теперь раздевается догола. Я, как и раньше, мою ей ступни, щиколотки, колени, затем мои руки взбираются выше. Намыленная рука блуждает по ее бедрам совершенно равнодушно, замечаю я. Девушка приподнимает локти, и я мою ей подмышки. Потом живот, груди. Отодвигаю длинные волосы в сторону и мою затылок, шею. Она терпеливо ждет. Окатываю ее чистой водой и заворачиваю в полотенце.

Потом она лежит на кровати, а я натираю ее миндальным маслом. Закрываю глаза, и ритм поглаживающих движений полностью подчиняет меня себе, вытесняя все мысли и чувства; за решеткой камина над высокой кучей поленьев шумит огонь.

У меня нет желания проникнуть в это крепко сбитое маленькое тело, поблескивающее сейчас в отсветах огня. Уже неделю мы не говорим друг другу ни слова. Я дал ей кров, я ее кормлю, я пользуюсь ее телом – не знаю, уместно ли здесь это выражение, – избрав такой вот странный способ. Первое время, если я позволял себе какие-то особо интимные ласки, она на мгновение застывала, словно окаменев, но сейчас тело ее остается мягким и податливым. Иногда она засыпает прежде, чем я заканчиваю ее растирать. Спит она крепко, как ребенок.

Под ее незрячим взглядом, в уютном тепле комнаты, я раздеваюсь без всякого стеснения, мне не стыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской груди, морщинистой, как у индюка, шеи. Не думая о своей наготе, расхаживаю по комнате и иногда, после того как девушка засыпает, нежусь у огня камина или сижу в кресле и читаю.

Но чаще всего, еще когда я продолжаю ее гладить, на меня накатывает сон, и, погружаясь в забытие, я тяжело, как под ударом меча, валюсь на нее и просыпаюсь только через час или два, с мутной головой, ничего не понимая и изнемогая от жажды. Эти уходы в лишенный сновидений сон похожи на смерть или на колдовской транс; они как провалы в пустоту вне времени.

Однажды вечером, втирая миндальное масло в корни ее волос, массируя ей виски и лоб, замечаю, что в уголке правого глаза у нее притаилась маленькая

серая складка, словно туда заползла гусеница и, спрятав головку под веко, так там и осталась.

- Что это? - Я провожу ногтем по серой гусенице.

- Это после них. - Она отталкивает мою руку.

- Тебе больно?

Она отрицательно качает головой.

- Дай я посмотрю.

С каждым днем я все яснее сознаю, что никуда не отпущу эту девушку, пока не расшифрую и не пойму до конца каждую метку, оставленную на ее теле. Большим и указательным пальцем раздвигаю ей веки пошире. В розовом кармашке верхнего века складка обрывается, головка у гусеницы отрублена. Никаких других отметин на глазу нет. Он совершенно целый.

Всматриваюсь в глубину глаза. Как мне поверить, что обращенный на меня взгляд ничего не видит или видит только то, что по краям: например, мои руки, или углы комнаты, или кружок дрожащего света, но в центре, там, где я, - лишь пятно, размытая пустота? Медленно провожу рукой у нее перед лицом и слежу за зрачками. Они неподвижны. Она не моргает. Потом улыбается.

- Зачем ты это? Думаешь, я не вижу?

Глаза у нее темно-темно-коричневые, почти черные.

Касаюсь губами ее лба.

- Что они с тобой делали? - шепчу я. Язык у меня еле ворочается, я качаюсь от усталости. - Почему ты не хочешь мне сказать?

Она мотает головой. Уже на пороге забытья вдруг вспоминаю, как мои пальцы, скользя по ее ягодицам, вроде бы нащупали под кожей что-то похожее на два идущих крест-накрест рубца.

– Самое страшное – это наше собственное воображение, – бормочу я.

Но она будто и не слышит. Валюсь на кровать, тяну ее за собой, зеваю. Ну расскажи, хочется мне попросить ее, не делай из этого тайну, ведь боль – это всего лишь боль, но слова убегают от меня. Мои руки смыкаются на ее плече, губы утыкаются ей в ухо, я мучительно пытаюсь что-то выговорить – и проваливаюсь в черную пустоту.

Я избавил ее от позорной участи нищенки и определил посудомойкой на гарнизонную кухню. «Всего шестнадцать ступенек – и ты в постели у судьи», – любят говорить о кухарках наши солдаты. Другая их любимая шутка: «Что делает судья каждое утро перед уходом на работу? Сажает свою очередную бабу в духовку, чтобы не остыла». Чем меньше город, тем больше в нем сплетен. У нас тут знают всё и обо всех. Сплетнями пропитан сам воздух, которым мы дышим.

Теперь часть дня она моет посуду, чистит овощи, помогает печь хлеб и готовить извечную солдатскую еду: овсянку, похлебку и жаркое. Кроме нее, на кухне работают еще трое: старая повариха, командующая там чуть ли не с того времени, когда я стал судьей, и две женщины помоложе, одна из которых, самая молодая, в прошлом году пару раз поднималась на шестнадцать ступенек. Поначалу я опасаясь, что эти две объединятся против нее, но ничего подобного – судя по всему, они быстро находят общий язык. Проходя мимо дверей кухни во двор, я всякий раз слышу пробивающиеся сквозь теплый пар женские голоса, негромкую болтовню, смешки. И хотя сам понимаю, как это глупо, чувствую уколы ревности.

– Работа тебе не в тягость? – спрашиваю я.

– Девушки там мне нравятся. Они хорошие.

– Как-никак лучше, чем просить милостыню. Верно?

– Да.

Молодые кухарки, если ни одна не заночует на стороне, спят вместе в маленькой комнате в нескольких шагах от кухни. Именно в эту комнату пробирается она в темноте, когда среди ночи или под утро я отсылаю ее прочь. Не сомневаюсь, что ее подружки всё уже разболтали, и наши свидания в подробностях обсуждаются на базарной площади. Чем старше мужчина, тем нелепее представляется другим каждое его совокупление с женщиной, когда он стонет и хрипит, как подышающее в конвульсиях животное. Притворяться, что я железный, или изображать добродетельного вдовца я не могу. Ехидные усмешки, шуточки, понимающие взгляды – лишь часть цены, которую я смиренно согласился платить.

– Ну и как тебе тут? – спрашиваю я. – Нравится жить в городе?

– В общем-то, нравится. Здесь интереснее.

– Ни по чему не скучаешь?

– По сестре скучаю.

– Если надумаешь вернуться, я прикажу, и тебя отвезут, – говорю я.

– Отвезут куда?

Она лежит на спине, вяло сложив руки на груди. Я лежу рядом, разговариваю с ней шепотом. Как раз в такие минуты все и кончается. Моя рука, только что легко поглаживавшая ее живот, становится неуклюжей, как рачья клешня. Вспыхнувшее было влечение, или не знаю, как это назвать, мгновенно угасает; я вдруг вижу себя со стороны и, с удивлением сознавая, что прижимаюсь к этой апатичной девушке, тщетно пытаюсь вспомнить, что в ней могло вызвать у меня желание; я злюсь на себя за то, что и хочу ее, и не хочу.

Она же не замечает в моем настроении никаких перепадов. Жизнь ее постепенно наладилась и идет заведенным порядком, который ей вроде бы по душе. Утром, когда я ухожу, она приходит убирать квартиру. Потом помогает на кухне готовить обед. Всю вторую половину дня она, как правило, свободна. После ужина, когда кастрюли и сковородки вычищены, пол вымыт и огонь в плите затушен, она расстается со своими подругами и поднимается по лестнице ко мне. Раздевается и, улегшись в постель, ожидает моих непонятных ей знаков



внимания. Иногда я к ней подсаживаюсь, ласкаю ее и без особой надежды на успех жду, что во мне разыграет кровь. А иногда сразу же задуваю лампу и тоже ложусь в постель. В темноте она скоро забывает обо мне и засыпает. А я просто лежу рядом с этим молодым здоровым телом, которое от сна наливается еще большим здоровьем и в тишине само себя лечит, упорно врачует даже навсегда погубленные глаза и ноги, чтобы снова стать единым целым.

Мысленно возвращаюсь в недавнее прошлое и пытаюсь вспомнить ее такой, какой она была раньше. Я почти уверен, что видел ее в тот день, когда солдаты пригнали ее сюда вместе с другими варварами, связанными за шею общей веревкой. Я знаю, что наверняка скользнул по ней взглядом, когда вместе с остальными она сидела во дворе гарнизона, растерянно ожидая, что будет дальше. Мои глаза должны были задержаться на ней; но это мгновение не запало в память. В тот день она еще не несла на себе мету палачей, но мне не под силу убедить себя, что она не всегда была меченой, так же как и не под силу поверить, что когда-то она была ребенком, маленькой девочкой с косичками, которая бегала за своим любимым ягненком в том далеком-далеком мире, где я уверенно шагал по земле в лучшие годы моей жизни. Как я ни напрягаю память, мое первое воспоминание о ней остается неизменным: стоящая на коленях девушка просит милостыню.

Я еще ни разу не овладел ею. С самого начала моя страсть избрала не столь прямолинейный путь. Стоит мне только подумать, что моя высохшая старческая плоть может вторгнуться в эту юную полнокровную теплоту, и я тут же представляю себе, как в молоко капают кислотой, как в мед сыплют золу, как в хлеб подмешивают мел. Когда я гляжу на ее нагое тело, а потом перевожу взгляд на свое, мне не верится, что некогда силуэт человеческой фигуры представал в моем воображении цветком, распускающимся из бутона чресел. И ее, и мое тело, оба они – нечто растекающееся, газообразное, зыбкое, в одних местах вдруг закручивающееся вихрями, в других – застывающее, густеющее, но в то же время всегда плоское, ровное. Как облако в небе не знает, что ему делать с другим облаком, так и я не знаю, что мне делать с ней.

Слежу, как она раздевается, в надежде уловить в ее движениях намек на былую раскованность. Но даже в том, как она снимает через голову рубашку и отшвыривает ее, чувствуется досада, настороженность, напряженность, словно она боится наткнуться на невидимое препятствие. На лице у нее недоверчивость зверька, который знает, что за ним наблюдают.

Недавно я купил у одного охотника чернобурого лисенка. Ему всего два-три месяца, мать, наверное, только что перестала кормить молоком, зубы у него как мелкая пила. В первый день девушка взяла его с собой на кухню, но он испугался огня и шума, так что теперь я держу его наверху, где он весь день прячется под мебелью. Ночью иногда слышу, как он тихонько царапает когтями пол, разгуливая в темноте. Пьет он налитое в блюдечко молоко, ест обрезки вареного мяса. Постоянно держать лисенка в доме невозможно – в комнатах уже пахнет, но он еще слишком мал, чтобы выпускать его во двор. Раз в три-четыре дня я зову внука поварихи, и мальчик, ползая за комодом и под стульями, выгребает помет.

– Очень красивый зверек, – говорю я.

Она пожимает плечами.

– Зверям место на воле.

– Хочешь, я отнесу его к озеру и отпущу?

– Пока нельзя. Он еще слишком маленький и умрет с голоду или собаки загрызут.

И лисенок остается в доме. Изредка его остроносая мордочка высовывается из какого-нибудь темного угла. Но чаще он дает о себе знать только шумом по ночам и всепроникающим острым запахом мочи; а я тем временем жду, когда он достаточно подрастет и я смогу от него избавиться.

– Будут говорить, что я держу у себя сразу двух диких зверей – лисенка и девушку.

Шутка ей непонятна, а может быть, не нравится. Она поджимает губы, взгляд ее неподвижно застывает на стене. Я понимаю, что она изо всех сил старается смотреть на меня с презрением. Душа моя переполняется жалостью, но что я могу сделать? Появлюсь ли я перед ней облаченный в судейскую мантию, или встану рядом голый, или вырву ради нее из груди сердце – все равно я останусь таким же, как сейчас.

– Прости меня, – говорю я, и слова равнодушно падают в пустоту. Протягиваю руку и, растопырив толстые, оплывшие пальцы, провожу пятерней по ее волосам. – Конечно, это разные вещи.

Одного за другим вызываю солдат, которые были приставлены к пленным в дни допросов. И все они повторяют одно и то же: с пленными они почти не разговаривали, входить в комнату, где проводился допрос, им не разрешалось, и что там происходило, они сказать не могут. Но от женщины, подметающей гарнизонный двор, я хотя бы узнаю, как та комната выглядела: «Там был только небольшой стол и табуретки... три табуретки, в углу циновка, а больше вообще ничего... Нет, не очаг, а только жаровня. Я из нее золу вытряхивала».

Теперь, когда жизнь вернулась в обычное русло, эта комната снова занята. По моему приказу четверо размещенных там солдат вытаскивают на галерею свои сундучки, сваливают в кучу матрасы, ставят на них сверху тарелки и кружки, снимают веревки с выстиранным бельем. Захлопываю дверь и остаюсь в пустой комнате один. Погода безветренная и холодная. Озеро уже начало замерзать. Выпал первый снег. Вдали слышу колокольчики саней. Закрываю глаза и стараюсь представить себе эту комнату такой, какой она могла быть два месяца назад, во время визита полковника; но трудно предаваться фантазиям, когда за дверь толкнутся четверо молодых парней, которые потирают от холода руки, притопывают и, нетерпеливо дожидаясь, когда я уйду, что-то бормочут, а их теплое дыхание клубится в воздухе.

Опускаюсь на колени и осматриваю пол. Он чистый, его каждый день подметают, он такой же, как пол любой другой комнаты. Над очагом, на стене и потолке копоть. И еще пятно размером с мою ладонь, в том месте, где размазали сажу. А больше на стенах ничего нет. Какие следы вздумалось мне здесь искать? Открываю дверь и машу рукой, чтобы солдаты заносили свои пожитки назад.

Во второй раз задаю вопросы двум солдатам, которые охраняли двор:

– Расскажите поточнее, что происходило, когда пленных допрашивали. Расскажите о том, что вы видели сами.

Отвечает который повыше, шустрый парень с длинным подбородком; я его давно заметил, и он мне нравится.

- Офицер... - начинает он.

- Какой? Из полиции?

- Да... Офицер выходил в коридор, где держали пленных, и на кого-нибудь показывал. Мы того отводили на допрос. А потом приводили обратно.

- Допрашивали по одному?

- Нет, не всегда. Иногда по двое.

- Как вам известно, один из пленных после допроса умер. Вы помните этого пленного? Вы знаете, что они с ним делали?

- Мы слышали, он взбесился и напал на них.

- Это правда?

- Так нам сказали. Я помогал нести его назад в коридор. Где они все спали. Он как-то странно дышал. Очень глубоко и часто. На другой день он умер.

- Продолжай. Я слушаю. Расскажи мне все, что ты помнишь.

Лицо у парня застывает. Его предупредили, чтобы не болтал, я в этом уверен.

- Того мужчину допрашивали дольше всех. Я видел, как после первого допроса он сидел один в углу и держался за голову. - Парень украдкой косится на своего напарника. - И он ничего не ел. С ним была его дочка: она его заставляла, но он все равно не ел.

- А что случилось с дочкой?

- Ее тоже допрашивали, но не так долго.

- Продолжай.

Но парню нечего мне больше сказать.

– Послушай, – говорю я. – И ты и я знаем, кто его дочка. Она та девушка, которая живет у меня. Это не секрет. Так что рассказывай. Что с ней делали?

– Ваша милость, не знаю я! Я туда и не заходил. – Он просительно поворачивается к своему другу, но тот словно онемел. – Иногда она кричала, ее, наверное, били... Но я не знаю, меня там не было. Когда меня сменяли, я сразу уходил.

– Ты ведь знаешь, что теперь она не может ходить. Они ей переломали ноги. Скажи, они делали с ней все это в присутствии того другого, ее отца?

– Да. Кажется.

– И ты знаешь, что с тех пор она почти ничего не видит. Когда с ней это случилось?

– Ваша милость, у нас же работы было невпроворот: столько пленных, и многие больные! Что у нее ноги сломаны, я знал, а что она слепая, узнал только потом. Я бы все равно не смог ничего сделать! Зачем мне вмешиваться в то, чего я не понимаю?!

Его другу добавить нечего. Отпускаю обоих.

– И не бойтесь, что вы со мной поговорили, – успокаиваю их я.

Ночью мне снова снится тот же сон. Я устало бреду по снегу бесконечной равнины к темным фигуркам, играющим вокруг снежного замка. Завидев меня, дети куда-то ускользают или тают в воздухе. И лишь одна фигурка остается: девочка в капюшоне сидит ко мне спиной. Ее руки продолжают пришлепывать снег к стенам замка, а я хожу вокруг, пока наконец не удастся заглянуть под капюшон. Лицо ее лишено каких-либо определенных черт; это лицо зародыша или мордочка китенка; это вообще не лицо, а просто некая часть человеческого тела, обтянутый кожей бугор; оно белое; оно – снег. Онемевшими от холода пальцами я протягиваю монетку.

Зима установилась прочно. Ветер дует с севера и будет дуть без передышки еще четыре месяца. Когда я стою у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, мне слышно, как он посвистывает в щелях карнизов и ворошит отставшую от кровли черепицу. По площади гоняются друг за другом вихри песка, песчинки барабанят в окно. Небо заполнено мелкой пылью, солнце всплывает в оранжевую высь и остается висеть там, медное, тяжелое. Короткие метели то и дело присыпают землю снегом. Нас осадила зима. Поля опустели, у людей пропала нужда покидать стены города, и за ворота выходят разве те немногие, кто зарабатывает на жизнь охотой. Проходящий два раза в неделю смотр гарнизонного войска временно отменен, солдатам разрешили, если кто захочет, переселиться из казармы в город, потому что дел у них теперь мало – только пить да спать. Когда я ранним утром обхожу крепостные стены, половина дозорных будок пуста, немногочисленные часовые закутаны в тяжелые тулупы и с трудом поднимают руку, чтобы отдать честь. Они вполне могли бы остаться дома и спать. До конца зимы Империи ничто не угрожает: в невидимой глазу дали варвары сейчас сгрудились вокруг своих очагов и тоже стучат зубами от холода.

К нам в этом году варвары не заглядывали. Раньше, бывало, кочевники зимой разбивали вокруг городских стен шатры и занимались торговлей, предлагая шерсть, шкуры, войлок и вещи из кожи в обмен на ткани, чай, сахар, бобы, муку. Кожаные изделия варваров ценятся у нас высоко, особенно их добротные сшитые сапоги. Я с давних пор поощряю эту торговлю, хотя и запретил вести ее на деньги. Кроме того, по мере сил слежу, чтобы варваров не пускали в таверны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы рядом с городом вырос поселок-паразит, где жили бы порабощенные пьянством попрошайки и бродяги. В прежние дни мне всегда было больно видеть, как эти люди, поддавшись вероломным уговорам лавочников, обменивают свои товары на дешевые побрякушки и валяются пьяными в канавах, тем самым подтверждая канонизированный горожанами набор предрассудков: мол, все варвары ленивые, развратные, грязные и тупые. Если приобщение к цивилизации влечет за собой подрыв их устоев и превращает варваров в зависимый народ, то я против такого приобщения, решил я; это убеждение легло в основу моей административной деятельности (и это говорю я, человек, взявший девушку из этого народа себе в наложницы!).

Но в этом году вдоль всей границы опустился занавес. Со стен нашей крепости мы вглядываемся в даль пустыни. Вполне вероятно, что с той стороны на нас точно так же глядят глаза позорче наших. Торговля прекратилась. С тех пор как из столицы сообщили, что ради спасения Империи будет сделано все возможное и любой ценой, мы снова вернулись в эпоху набегов и вооруженных дозоров. И

теперь нам остается только держать порох сухим, наблюдать и ждать.

Досуг я заполняю прежними увлечениями. Читаю классику; продолжаю составлять описи моих разнообразных коллекций; сверяю имеющиеся у нас разрозненные карты южной части пустыни; в дни, когда колючий ветер ослабевает, отправляюсь с отрядом землекопов расчищать наносы песка вокруг руин; раз, а то и два раза в неделю ранним утром езжу в одиночестве к озеру охотиться на зайцев и антилоп.

Лет тридцать назад антилопы и зайцы водились здесь в таком множестве, что по ночам поля молодой пшеницы сторожили с собаками. Но под натиском города, и прежде всего спасаясь от собак, которые дичали и охотились стаями, антилопы передвинулись на восток и север, в низовья реки, к дальним берегам озера. И теперь, прежде чем приступить к поискам добычи, охотник должен запастись терпением и отскакать на лошади по меньшей мере час.

Иногда в погожее утро ко мне будто возвращается молодость, я вновь полон сил и проворен, как мужчина в расцвете лет. Словно невесомый призрак, скольжу я от дерева к дереву. Обутый в сапоги, за тридцать лет насквозь пропитавшиеся смазкой, вброд перехожу студёные ручьи. Поверх камзола на мне просторная медвежья доха. Бороду опутывает иней, но пальцы в рукавицах не зябнут. Глаза мои все видят, уши все слышат, ноздри подрагивают, как у гончей, душу полнит восторг.

Сегодня, стреножив лошадь, оставляю ее на унылом юго-западном берегу, там, где кончается узкий клин осоки, а сам углубляюсь в камыши. Ветер, морозный и сухой, дует прямо в лицо, солнце оранжевым апельсином повисло на горизонте в разлинованном красными и черными полосами небе. По нелепой случайности мне везет, я почти сразу же набредаю на «водяного козла», барана с тяжелыми изогнутыми рогами и уже по-зимнему косматой шерстью: он стоит ко мне боком и, слегка покачиваясь, обгрызает верхушки камышей. До него меньше тридцати шагов, я вижу мерные круговые движения его челюсти, слышу, как под ногами у него чавкает грязь. Мне видны даже бусинки льда в лохмах шерсти над копытами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/dzhozef-kutzee/v-ozhidanii-varvarov/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/dzhon-kutzee/v-ozhidanii-varvarov-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)